

ЭТЬЕН АНХЕЙМ

## Придворная культура и наука о государстве на Западе в XIV веке

Что больше всего раздражает в современной системе и во Франции, как ее основном представителе, так это вечная противоречивость, инстинктивная двойственность и, я бы сказал, наивное лицемерие, в котором чередуются, последовательно сменяя друг друга два принципа: римский и феодальный. Франция в итоге предстает как правовед в кирасе, как прокурор, закованный в железные латы; она использует феодальную силу для осуществления постулатов римского канонического права.

*Жюль Мишле, Средние века, «Царствование Филиппа Красивого», Книга V, гл. 2, Робер Лаффон, 1981.*

Его прозвали Мудрым, это значит, сведущим, просвещенным или даже скорее дальновидным, осмотрительным и коварным. Это был первый современный король, король на троне, такой, каким он выгравирован на государственных печатях. До этого момента царственные особы должны были изображаться исключительно в седле.

*Жюль Мишле, Средние века, «Царствование Карла V», Книга VI, гл. 4, *op. cit.**

Откуда возникло расхожее мнение, что XIV век ознаменован изобретением «спотыкающейся», делающей свои первые шаги, политической науки, и вместе с Макиавелли он познал начало своей зрелости? Почему этому веку приписывается рождение великих государственных администраций, опирающихся на умение хорошо писать, тем самым, систематизируя архивные фонды, законодательство, бухгалтерию и фискальную политику? Откуда, наконец, пошло мнение, что в глазах историков культуры этого периода XIV век был «предвестником Возрождения»? Это примечательное совпадение, скорее всего, не случайно. И мы хотели бы в общем контексте работ Жака Кринена, Жака Шиффоло, Жака Верже и Жана-Филиппа Жене предложить не столько простой обзор, сколько некую гипотезу о природе связи между знанием и властью в XIV веке на Западе.

Рождение современной политической науки в XIV веке было следствием общего национального историографического наследия. Карл V (1364–1380), «Мудрый» прославился при жизни как тонкий, осмотрительный монарх, предпочитающий избегать полей сражения и внедривший искусство управления не столько от своего лица, сколько по старинным предписаниям рыцарского кодекса чести. Этот образ просвещенного правителя не прекращал пополняться

новыми штрихами даже после смерти того, кто сумел вернуть большую часть королевства Франции, вырвав ее из рук англичан. Подобные оценки его правления можно встретить в «Книге деяний и добрых нравов Карла V» у Кристины Пизанской и вплоть до исторических трудов Мишле, в историографии Швейцарии и в классических школьных учебниках: «Карл V весьма отличался от своего отца и деда. Они были блестящими воинами, всегда готовыми обнажить шпаги. Карл же был ученым — “мудрым”, что и стало в последствии его именем собственным, прозвищем. Долгие часы он проводил в библиотеках, пролистывая сотни манускриптов, им же фактически и собранных».

Без сомнения, мы тоже должны обратиться именно к этому образу. Искусство управления в XIV веке воплотилось не только в лице просвещенного Карла V. История политических практик не может обойти вниманием и Филиппа Красивого, олицетворявшего плохого короля, его обвиняли в печатании испорченной монеты и, особенно в том, что он бросил государство на произвол законовладельцев, «злых, бессовестных, готовых на все, лишь бы добиться своих целей. Король же их всегда поддерживал». Возникновение науки о государстве как новой самостоятельной практики было прогрессивным и продолжительным явлением, направленным как в пользу сомнительного могущества юристов Филиппа Красивого, так и на благо мудрых философских доктрин Карла. Этот феномен было бы неправильно просто сводить к какой-то особой французской специфичности: это лишь иллюстрация вообще разворачивающихся вокруг власти процессов на Западе в XIV веке.

Выражение «вокруг власти» надо понимать в прямом смысле слова: чтобы правильно поставить проблему происхождения науки о государстве, нужно поместить ее в пространство «около власти», которой собственно и являлся королевский двор, место интеллектуальной борьбы и интеллектуального производства альтернативного университету. В средние века королевский двор и университет формировали два полюса, вокруг которых и разворачивались карьеры интеллектуалов. Каждый из этих полюсов конституировал собой замкнутую область, управляемую социальными логиками и относящимися к ним интеллектуалами. Исходя из этой гипотезы, королевское окружение в итоге создало автономный универсум со своими собственными правилами и приоритетами, знание которых позволяло понять социальные логики групп, владеющих специфическими знаниями. Таким образом, социальная борьба между интеллектуалами могла бы быть истолкована как борьба за политическую легитимность того или иного лагеря в глазах короля.

Можно искать какие-то аргументы в поддержку этой интерпретации в изучении великих королевских дворов XIV века, формирующих полноценную структурированную сеть вокруг направления Париж-Авиньон, и чьи ответвления простирались вплоть до Неаполя и Праги. В их кругу, преподаватели университета, активно участвовавшие в управлении зарождающимися государственными администрациями, не считались гомогенной группой. При дворе Карла V, в университетской среде, окрещенной Франсуазой Отран «королевским клубом», происходили жаростные схватки между философами и юристами. Университетская вражда этих оппонентов была не нова и восходила, по крайней мере, к XIII веку. Новизна же состоит в том, что эти дебаты разворачивались не в стенах университетов, а при дворе. Противни-

ки не принимали своих коллег больше в расчет, не апеллировали к ним, а пытались добиться благосклонности лишь одной особы, королевской.

### Юристы против философов

Этот довольно известный конфликт, часто карикатурно изображался как противостояние между Аристотелем и римским правом, что было хорошо проиллюстрировано в двух знаменитых произведениях: «Сон садовника» Еврарта Тремогонского, а также переводе и комментарии к «Политике» Аристотеля Никола Оресма. Последняя работа, датированная 1370–1374 гг., достаточно эмблематична, что касается политической науки, поскольку текст Аристотеля не только переведен на французский, но также основательно прокомментирован одним из величайших интеллектуалов эпохи. Перевод Оресма пополнил французский политический лексикон неологизмами, которые и по эту пору не вышли из употребления (например, словами: анархия, договор, демократия, депутат, диалог, экономика, неравенство, законодатель, политика, президентство и подсчет голосов). Некоторые пассажи влекли за собой длинные критические рассуждения, скорее всего вдохновленные политической ситуацией того времени, как, например, объяснение фрагмента о сохранении государства Спарта Феопомпом. Оресм выдвигает ряд правил, необходимых, чтобы обеспечить сохранность Государства. Приоритет отдается правилам, позволяющим избежать тирании: абсолютная власть не допустима, поэтому король должен всегда подчиняться закону. Это утверждение противоречит традиционно упоминаемой юристами максиме: «*Principes est solutus legibus*» — «Принц всегда над законом». Постепенно вырисовываются настоящие противники Оресма, и среди них меньше всего гипотетических тиранов, в отличие от вполне реальных юристов из свиты Карла: Из-за всяких заблуждений и дурных советов подобных льстецов и подхалимов (юристов) в прошлом были приняты некоторые законы, поставившие королей вне всяких правил: *et quia princeps est solutus legibus...*» Оресм, притворяясь, будто не знает об ограничениях, которые создаются юристами для смягчения их позиции, критикует интеллектуальную ригидность этих, упершихся в Кодекс, в писанные законы и еще шире в позитивное право, людей. Оресм обвинял их в тотальном незнании «естественного права человеческого сообщества». Эти люди представляли угрозу для Государства, поскольку сбивали короля с пути умеренности, направляя на путь чрезмерной авторитарности. Оресм заканчивает свой исторический экскурс безусловной дискредитацией юристов: «Другая причина (незнания способов сохранения Государства) заключается в том, что эти законоведы с самой юности слышали о подобных законах и рекомендовали их как вполне грамотные. Аввероэс также говорил в прологе к «Метафизике», что привычка с юности к ложным мнениям мешает познанию истины. Он считал в этой связи, что те, кто изучают сначала законы, не могут после уже изучать философию».

Основополагающие принципы науки о государстве, кажется, конфликтуют с своим собственным содержанием. Оресм хочет продемонстрировать, что подобная наука есть дело философа, и что юрист в этой ситуации играет роль второстепенного подчиненного технолога, которому нельзя доверить ведение

дела под страхом возможной тирании. Этот текст представляет собой не только ораторское состязание, в нем заключен также момент весьма конкретного поединка в погоне за благосклонностью короля и в навязывании определения науки о государстве, как науки «социопрофессионального профиля».

Юристы, впрочем, не остались в долгу: «Сон садовника», произведение, заказанное Карлом V, выдвигающее на авансцену споры вокруг его персоны — поистине ответ Никола Оресму. Это сложное произведение представляет собой вымышленный диалог между просвещенным и рыцарем: сама по себе эта форма уже примечательна, поскольку воссоздает тот накал, напряжение между юристами и философами, наслаивающееся на напряжение, существовавшее между людьми Церкви и сторонниками светского государства. Это напряжение связано с легкой дисквалификацией противника, в личности которого были сплавлены воедино множество точек зрения. Необходимо было дать ему слово, чтобы оптимальнее, со всей наглядностью продемонстрировать несовершенство позиции оппонента. В конце первой книги, в качестве альтернативы, в заключении, Еврарт Тремогонский без обиняков и околичностей излагает свое мнение: «Итак, основная задача короля — это умелое управление своим народом, следуя советам мудрецов, а именно тех, кто является экспертами в каноническом праве и гражданском, знает обычаи, конституцию и королевские законы, а не Художников (тех, кто изучал свободные искусства, что в данном случае означает — философов). Пусть даже они знают принципы управления народом, содержащиеся в “Этике”, “Экономике” и “Политике” Аристотеля, но поскольку они владеют этими принципами и этой наукой в целом, и при этом не имеют практики, значит, они не сумеют применить никакие из этих принципов». Так была отражена атака философов. Несомненно, за ними признавали теоретическое знание проблемы управления, но эти познания годились только для школьных спекуляций. Для Еврарта Тремогонского, настоящие политические аферы, аферы всего королевства должны проводиться при дворе, руками одних лишь юристов.

Противостояние юристов и философов не было особенностью только французской придворной жизни, оно, напротив, также затронуло большую часть великих, западных королевских дворов эпохи. Эта оппозиция не всегда была даже явной, открытой: в Неаполе, при короле Роберте (1309—1343), в свите вполне мирно сосуществовали люди с юридическим образованием, как премьер-министр Бартоломео де Капуэ, так и университетские преподаватели, носители теологической культуры, как, например, проповедник Жан Кужина или францисканец Франсуа де Мейроннс. Это сосуществование стало возможным, благодаря более четкому разделению функций и задач: управленческая практика была в большей степени в поле зрения юристов. Благодаря совместному использованию различных интеллектуальных представлений, так, например, Бартоломео де Капуэ, королевский логофет, чиновник, говорящий часто за своего суверена, был юристом, одновременно глубоко вдохновленным теологической культурой томизма. В Авиньоне при дворе понтифика, можно было наблюдать такие же трения, иногда между двумя понтификами, как это было с Полем Амаржье и Бенуа XII (1334—1342) или Урбаном V (1362—1370) — один был теологом, другой — юристом. Это показывает, как практическое управление авиньонских пап

прогрессивно конструировалось между двух полюсов, и сами папы были их представителями. Климент VI (1342–1352), будучи великим теологом, заказывал трактаты у таких теологов, как Бартоломео Урбинский, Жан Бернье де Фэт или Лука Манелли, а также у юристов, типа Никола Росселли.

### **Астрология, как несчастливая соперница**

С одной стороны, пространство, оставшееся в XIV веке свободным для теократических устремлений папства, с другой стороны, предназначавшееся для вселенских идеалов империи, стало внезапно закрытым и страшным полем брани между профессиональными группами. Каждая из них пыталась в свою пользу дать определение новой «науки управления». Тем временем, философы и юристы приходили иногда к согласию. Взять хотя бы классический пример — астрологию: с обеих сторон она категорически осуждалась. Это видно из дебатов Никола Оресма и Еврарта Тремогонского. Во «Сне садовника» Еврарт отвергал астрологию по двум причинам: она противоречила вере, так как стремилась постичь замысел божий, что само по себе кощунство и святотатство, и одновременно астрология представляла опасность, поскольку была изначально слишком сомнительна, чтобы ей верить. В итоге Еврарт подводит решительную черту: «Христианские короли и все прочие властители на земле не должны никогда верить ни в какие астрологические гадания». Этим, собственно, и исчерпывалась в реальности почти вся его аргументация... У самого Оресма в его «Книге пророчеств» были тоже нападки на астрологов. Он даже выдал свой основной источник, защищая позицию философствующего соперника: «Аристотель в “Политике” пишет, что астрология есть благородная и прославленная наука, но вне своих терминов и пределов, а именно, когда она используется для постижения грядущего, астрология уже идет вразрез и с философией и с моралью».

Это единодушие не случайно, поскольку речь идет о том, чтобы оградить прежде всего короля от астрологии. Интеллектуальные прения артикулируются в рамках борьбы за власть между придворными. В действительности, астрологи были людьми, достаточно влиятельными при дворе и легко добивались признания суверенов в связи с различными пророчествами политического характера. Не удивительно, что когда образованные могущественные группы, противодействовали друг другу в контексте легитимных дефиниций науки о государстве, астрология, которую было трудно не принимать всерьез в политическом отношении, отклонялась повсеместно и юристами и философами. В конечном итоге, было важно избавиться от противника в равной степени опасного для обоих враждующих лагерей. Поскольку, позиционируя себя как науку предвосхищения и предвидения, и получая при этом поддержку, астрология угрожала остальным быть вытесненными из сфер влияния на государя.

### **Схоласты и гуманисты**

Были и другие социальные группы, соперничающие за благосклонность короля и за участие в создании политического опыта знания. По крайней мере, можно таким образом интерпретировать появление гуманистов в окружении

суверена в XIV веке. Дискурс гуманистов в то время опирался на отрицание интеллектуальных практик средневековой схоластики. Петрарка (1304–1374) был человеком, символизирующим это новое, одновременно социальное и интеллектуальное состояние. Своими делами, речами, произведениями он способствовал возникновению пространства гуманизма. В его «Дружеских письмах», можно воссоздать отношение человека, отказывающегося от карьеры, дорогу к которой ему открывали юридические познания: «Я стараюсь держаться подальше от общественных повинностей (...). Я так и не научился ходить в суды и торговать своим словом, это претит моей природе, которая научила меня любить тишину и одиночество, ненавидеть социальный карьеризм, презирать деньги. Что ж, тем лучше!». Также энергично отвергал Петрарка интеллектуальные практики схоластики. Например, он посвятил письмо I, 7 критике возможно воображаемой фигуры диалектика, чьи технические знания были предназначены лишь для тщетных словесных уловок и крючкотворства. Без сомнения крайне полезно изучать в университете диалектику, но нужно уметь абстрагироваться от того, что бывает в науке пошлым и бессодержательным: «Если мы не можем покинуть диалектическую школу, поскольку инфантильно в ней развлекаемся, тогда не будем стыдиться (...) и вновь вернемся в свои колыбели». Петрарка вполне ясно заключает: «Я не на свободные искусства сваливаю всю вину, я упрекаю как раз этих стареющих, морщинистых детей», схоластов.

Взамен университетской культуры, Петрарка продвигал новый идеал и неделимые от него новаторские литературные формы: «О каком образовании я хотел бы сказать? О литературе, и особенно о той философии, которая учит нас жить». Это свидетельствовало о фундаментальном повороте в самой концепции того, чем должна быть философия. Отныне не техническое, школьное знание, а искусство жить, Петрарка силился применить на практике. Он культивировал любовь к литературе, к литературной славе, что было важно для создания образа бескорыстного гуманиста (отсюда отказ от денег – жест необходимой для полноценного литературного творчества). Гуманисту следовало держаться в стороне от свиты, чтобы не обесценить свою «эксклюзивность» (мы помним его критику Авиньонского двора как Нового Вавилона), презирать все блага этого мира, обращаясь к последующим поколениям («Автор при жизни редко добивается признания того, что им написано»). Таким образом, он придавал вес своему литературному поприщу и самому себе. Кончилось все тем, что Петрарка стал востребованным при всех дворах, будучи объектом чрезвычайного расположения сильных мира сего. Такая социальная и интеллектуальная стратегия не обязательно должна была быть сознательной; а скорее свидетельствовала об экстраординарном «чувстве социального», которое делало из новых интеллектуальных практик основание для нового социального образа придворного гуманиста, чье общество стремились снискать не ради непосредственного технического, административного и политического интереса, а ради престижа. Это был способ притязать на новую форму свободы перед лицом принудительной службы государю, одновременно неизбежно не отказываясь от этой службы, а просто меняя правила игры. Это был также способ добиться триумфа в соперничестве с этими «схоластами», которые упорно продолжали использовать свое знание на службе у короля.

Петрарка, у которого, в принципе, благодаря его способности менять правила культурных практик XIV века была уникальная роль, не должен в то же время рассматриваться как изолированный персонаж. Несомненно, он атаковал носителей схоластических дисциплин, таких как медики и юристы, но в целом противостояние между университетской культурой разделяло интеллектуальные круги на протяжении всего последнего периода Средневековья. К примеру, поэт Альбертино Муссато сталкивался во взглядах с теологом Джованино де Мантуэ, и так — вплоть до гуманистов XV века Леонардо Бруни или Лоренцо Валла, яростно критикующих юристов.

В целом все эти противоборствующие друг другу люди изначально принадлежали к относительно общей, впитанной в университетах, культуре. Определить их идентичность довольно сложно, большинство из них можно было бы квалифицировать как юристов «и» гуманистов или астрологов «и» философов. По сути, не культура их разъединяла, а прежде всего социальный опыт, право на который они отстаивали. Гуманисты рождались из специфических отношений с политической властью, а именно: из отношения «депрофессионализации» знания. Гуманист, будь он юристом или философом отказывается быть профессионалом в дисциплине стоящей на службе при королевском дворе. Гуманист добивается иного доступа к власти практикой уже не юридической или теологической, а культурной и эстетической. Отсюда их выбор в пользу литературы, истории, философии морали, и максимум на что они были способны под давлением администрации или государственной или министерской канцелярии, так это на приходскую деятельность, единственно достойную их образования. Рождение гуманизма было в итоге связано не только с интеллектуальной историей возрождения Античности, но также с социальной историей одной группы людей которые, по крайней мере, на словах... отказывались от нормальной поступательной университетской карьеры. Они пытались вкладывать свои силы в новое открытое пространство, помещая его в придворную культуру поскольку, несмотря на все уничижительные дискурсы, как показывает биография Бокаччо или Петрарки, королевский двор и был их непосредственной целью. Король, оказывая им протекцию, не апеллировал к их политической и административной компетенции, а стремился продемонстрировать свою утонченность и любовь к прекрасному. В конце концов, обнаруживались политические преимущества выгодные гуманистам, и вскоре другие производители культурных благ: художники или архитекторы начали имитировать эту модель поведения. Таким образом, гуманизм стал, в том числе, и идеологической конструкцией<sup>1</sup>, которая предлагала культуру с новым содержанием как эстетическую и бескорыстную альтернативу скучной и суровой науке схоластов. Гуманизм претендовал на то, чтобы эта культура ценилась сама по себе, но эти претензии скрывали под собой очевидную политическую подоплеку в терминах престижа первого гуманизма.

<sup>1</sup> П. Жилли приводит прекрасный пример относительно важности создания новых представлений в гуманизме последнего периода Средневековья, см. «Зеркало гуманизма. Представления Франции в просвещенной итальянской культуре конца Средневековой эпохи», Рим, 1997. Он показывает, например, на стр. 555–556, как, начиная с Петрарки, Франция подвергалась нападкам как представительница отжившей культурной модели, университетской модели. Сведущие же итальянцы полностью принимали миф о *translatio studii* от Афин до Парижа.

## Наука о государстве между дискурсом и практикой

Все эти дискурсы юристов, философов или гуманистов способствовали возникновению пространства, которое можно было подвергнуть анализу, лишь, когда оно вступало в конфронтацию с реальным пространством придворных практик и социального опыта знания. С одной стороны, споры протекали на уровне научных сочинений, чтобы приблизиться к королю и к заманчивому месту политического советника, но с другой стороны, на уровне практики, то есть, в повседневном управлении делами в крайне сложной системе администраций. В этой практике распределение ролей является весьма неравным, и юристы оказываются в выигрыше по сравнению с теологами, не говоря о гуманистах. Их дискурс тесно связан с подобным положением дел, поэтому одни подчеркивают их практическую роль, другие стремятся как раз к теоретической роли советников в верхних эшелонах власти, и, наконец, последние отказываются от борьбы, чтобы добровольно открыть совершенно новое открытое придворное пространство.

Итак, вероятно, нужно рассматривать науку о государстве как единый феномен в своем практическом и теоретическом воплощении. Связать социальную практику и интеллектуальный дискурс — это единственная возможность объяснить это мистическое хронологическое совпадение. Социологически это были те же люди, что придумали административную науку счетоводства или архивного дела и которые участвовали в интеллектуальных дебатах о том, каким должно быть управление королевством. Наука о государстве рождается в этой придворной среде, и аспект, который она приобретает в течение нескольких десятилетий, аспект, которым еще отмечена наша политическая культура, связан с перераспределением сил в свите. Западная форма науки о государстве — это плод практической оппозиции различных социальных групп внутри зарождающегося административного аппарата, и социальное место, которое каждая группа занимала, было связано с ее теоретическим дискурсом.

Королевский двор был необыкновенной машиной, интегрирующей знание: все соперничающие проекты положили начало одной и только одной науке о государстве. Власть суверена в сердце придворной жизни подвергла схоластическое знание глубокой деформации, сначала максимально интегрируя ее, а потом переварив целиком. Для этой власти любые инструменты были хороши, при условии их эффективности. Поэтому свита и университет не принадлежали к одному интеллектуальному полю: противоречивые точки зрения в школьных дебатах, не были таковыми при дворе, который управлялся исходя из практической составляющей концептов. Логические правила противоречий и интеллектуальные границы были часто размыты властью, стерты ради ее выгоды. Так, некоторые вопросы необязательно должны быть резко обозначены: относил ли себя тот или иной двор к томистскому аристотелизму, уважающему сообщество подданных, или к неоавгустинианству, более благоприятствующему теории всемогущества? Это была не единственная оппозиция при дворе, она не проявляла себя с очевидностью, так как конкретный социальный опыт этих понятий показывает, что они безболезненно существовали во властной структуре, как сосуществовали концепты Никола Оресма и Еврарта Тремогонского. Признаки

этой интеграции в верховной власти многочисленны: Бартоломео де Капуэ в юридической и теологической культуре или Рауль де Пресль, юрист, которого Карл V, просил перевести «Божий град» Августина Блаженного. Даже точки зрения Оресма и Тремогонского не исключали друг друга: каждая допускала легитимность знаний другого, теоретических — для философа, практических — для юриста. Их конфликт был вызван лишь желанием добиться своего превосходства в этом сотрудничестве. Реальное, но вместе с тем относительное напряжение между философами и юристами, между практикой и теорией в науке о государстве не есть следствие лишь социального и интеллектуального расхождения. Это напряжение, также бережно поддерживаемое королем себе во благо, было движущей силой политической изобретательности при дворах в Западной Европе.

Все оппозиционные мнения враждующих кланов учитывались при конструировании науки о государстве, которая приобрела, таким образом, свою уникальность. Рождение науки о Государстве было одновременно чем-то вроде открытия чисто политического пространства (и особенно возврат к Аристотелю) и его немедленное исторжение из этого пространства по праву и единственно ради выгоды властителя. Так определяется также и пространство «священного», пространство видимое и запрещенное, даже явно запрещенное. И мы видим, что так называемый выход из политики вне теологической сферы, есть ложный выход, или скорее сам политик не ограничивается «священным». Однако, несомненно, нужно уточнить, что из этих двух аспектов, в науке о государстве верх берет темный: путь современного абсолютизма проходит больше через «просвещенную жестокость» юридических практиков, чем через диалог с сообществом подчиненных, о котором мечтал Оресм.

#### **От социального опыта знания к институционализации королевского двора**

Проблема науки о Государстве не касается лишь философии политики: она неразрешимо связана посредством социальных групп, участвующих в ее создании, с политической теорией, с разработкой административной практики и культурных практик. Этот социальный и политический опыт знания, эта интеграция научных практик средневековым королевским двором, происходила в несколько этапов. Первый длился до XII века и имел отношение к интеграции практических знаний, особенно прав, к самому строительству государства. Но почти в то же время люди, реализующие на практике это знание, придали ему теоретическое обоснование, которое должно было поддержать притязание использующей его власти, начиная с королевских и епископских публицистов XII и XIII-го веков, потом авторов «Зеркала короля» и вплоть до комментариев к Аристотелю XIV века. Новая ступень была достигнута, когда суверены начали систематично вдохновлять подданных на создание произведений, не имеющих прямое утилитарное политическое значение, как музыка, поэзия или живопись. Этот поворот в XIV веке отражал одновременно и рождение политического пространства и культурного опять же при дворе, хотя раньше эти практики подчинялись теологической концепции власти.

Таким образом, знания разделились на легитимные и нелегитимные. Нелегитимные, например, астрология, которую юристы и теологи, объединившись, пытаются выжить из пространства науки о государстве, чтобы спокойно продолжить соперничать. Само это пространство, которое конституирует себя в определенный момент, пронизано напряжением, далеко не каким-то исключительным. С одной стороны, теологи и философы, носители политических ценностей схоластического аристотелизма, унаследованного большей частью от Фомы Аквинского, заботились о том, чтобы избежать тирании, сосредотачиваясь на общем благе. Их вклад заметен в серии исследований о ведении политического диалога между королем и его вассалами в последний период Средневековья. С другой стороны, менее изучены юристы<sup>2</sup>, хотя с социологической точки зрения, они превосходят значительно философов и теологов в современных государственных машинах, и соответственно, приоритет отдается более бескомпромиссному видению суверенности, чем это было у томистов.

Наука о Государстве рождается из столкновения, инсценированного и контролируемого королем, между придворными. И, конечно, только с этого момента можно начинать говорить о политике в том смысле, который ей придается в классической западной культуре. Перед лицом этой науки при дворе развивается другая родственная ей наука-близнец, помпезная, бесконечно жаждущая славы, бросающаяся в глаза, но чья сущность и главная цель скрыты за всем этим блеском: то, что составляет придворную культуру Запада до XVIII века и от чего еще во многом зависит наша культурная норма. Разделение произошло между политиками и художниками — даже если гуманисты могли иногда совмещать все в одном, разделение имело место между теми, кто причисляет себя к государству и теми, кто от него требует, между теоретиками политических инструментов и теми, чьи произведения считаются бескорыстными, хотя заказаны королем, использующим их на этом этапе для демонстрации тонкого вкуса, собственной элитарности, и опять же ради своей явно корыстной бескорыстности.

В остальном, невозможно ограничиваться здесь констатацией политического и культурного придворного поля, появляющегося как бы произвольно, как моря рождаются из тектонических плит, удаляющихся друг от друга. Несомненно, рождение науки о государстве, как и придворной культуры — есть результат такого же процесса, но каковы условия его возникновения? Недостаточно самого факта функционирования поля, ни эссенциалистского ответа, как если бы двор всегда имел необходимый для политического и культур-

<sup>2</sup> По крайней мере, историками, так как большая часть важных исследований в этой области принадлежит историкам права, напр.: Ж. Джорданенго, А. Ригодьер, А. Гурон и Ж. Кринен. Возможно, имело бы смысл поразмышлять над этим положением дел, вызванным частично дисгармонией между философской культурой и культурой юридической в среде историков, частично политической культурой, отмеченной правами человека и Общественным договором, тем самым пренебрегающей основной связью между политикой и жестокостью даже в современном обществе. Это не означает реабилитацию таких авторов, как Карл Шмитт, но указывает на пользу, которую историки могли бы извлечь из эксплуатации трудов, опирающихся на фукольдическое понятие био-власти, как, например, произведение Дж. Агамбена «Homo sacer...», *op.cit.* и «То, что осталось от Аушвица», П., Rivages, 1998, 1999.

ного применения познавательный инструментарий. Необходимо было бы углубить это исследование в церковной среде, таким образом, чтобы не сводить эту эволюцию лишь к игре определенных социальных соперников, а учитывая всю его гибкость и сложность. Сами термины «политика» и «культура» далеко не вневременные, они зависят от существования и в определенный момент от социального пространства, где они могут трактоваться как легитимные и автономные. Рождение двора как политического и культурного относительно специфического пространства в XIV веке ставит вопрос об институционализации самого двора, не просто количественной, но качественной трансформации в практиках власти. Подобный вопрос не может быть быстро разрешен, наметим просто направление размышлений. Основная инстанция институционализации двора и его легитимации — это король, который характеризуется при дворах нами упомянутых: в Париже, Неаполе или Авиньоне, как «просвещенный король». Этот «просвещенный король» мог бы быть в истории независимой западной монархии решающей фигурой, равно как и, впрочем, эфемерной. Социальная история королевского двора как политического и культурного пространства — это, несомненно, история монархии, бывшая единственным смыслом существования и единственным полюсом церковно-приходской жизни, так что необходимо обратиться к этой «воображаемой социальной сигнификации», основательно опирающейся на право и теологию, чтобы в должной мере осознать мутации средневекового королевского двора. Это основополагающий парадокс науки о Государстве XIV века: она себя конструирует, как наука безличная и абстрактная, и именно в определенный момент, когда больше чем в какой бы то ни было другой период, властитель претендует на то, чтобы персонально идентифицировать себя со знанием. С этого эпизода знание и его отношения с властью глубоко видоизменяются, так же как изменяются практики и социальные группы, которые сами до того способствовали формированию этого воображаемого социального. Меценат и художники/гуманисты, наука о Государстве и юристы/теологи, каждый со своей стороны, казалось, собирали фрагменты этого интимного слияния власти и знания вокруг суверена, фрагменты, являющиеся социальной гарантией для тех, кто обладал явными или неявными секретами, благодаря которым народ любил и боялся своего властителя, а вскоре свое Государство, и даже Государство-нацию... — чей страх он любил и чьей любви он боялся.

*Перев. с франц. Юлии Бессоновой*

По изданию: *Actes de la recherche en science sociales, Seuil, декабрь 1999, №133*